

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Думая над тем, как с наибольшей выразительностью дать читателю XXI в. представление о жизни и работе советских историков во второй половине прошлого столетия,<sup>1</sup> я решил рассказать прежде всего о расхождении, которое существовало между тем, что они писали, печатали и излагали с кафедры, с одной стороны, и говорили в неофициальной обстановке — с другой. Разумеется, это относилось к представителям всех гуманитарных знаний. Е. Г. Эткинд вспоминал, как тончайший знаток Шекспира А. А. Смирнов вынужден был в монографии о нем писать о загнивании породившей его буржуазии, о разоблачении ее самим Шекспиром в «Гамлете» и доказывать, что «подлинный революционный Шекспир <...> нужен пролетариату». А дома посмеивался над обязательностью темы классовой борьбы, говоря на русско-французском волапюке: «*Sans la lutte des classes не печатают нас!*».<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Самая мысль об этом появилась под влиянием существенной убыли среди ровесников и необходимости не откладывать дела в долгий ящик. Да и не помрешь, так позабудешь... Прошло уже лет восемь с тех пор, как инспектриса в беседе, растолковав мне содержание заявления, которое я должен был подать, спросила: «Дедуленька, писать-то можете?» Я ответил: «С вашей помощью попробую». А здесь я предоставлен самому себе...

<sup>2</sup> Эткинд Е. Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., 2001. С. 323.

В больших научных библиотеках до известной поры в существовании особого, кулуарного, устного слова можно было убедиться воочию. В ленинградской «публичке», если я не ошибаюсь, еще и в 1950-е годы сохранялись с незапамятных для меня времен две «курилки» в холлах (говоря современным языком) нижнего этажа. Хотя из обеих лестницы вели в читальные залы, казалось, что собеседники, куrivшие на узких диванах, а то и сидевшие на них некурящие, в залы вовсе не поднимались. И это несмотря на то, что сказанное в «курилке» могло стать известно не только тем, кому было предназначено. По рассказам моего друга В. Я. Голанта, до войны «первоприсутствующим» там был знаменитый Долгат Лутохин — человек, не ладивший ни с какой властью, вернувшийся из эмиграции, поссорившись с ее лидерами, получивший в качестве жилплощади в Ленинграде ванную комнату в бывшей барской квартире, ставшей «коммуналкой» с раковиной на кухне. Саму ванну он использовал для ночлега, набив ее тряпьем, а дни проводил в Публичной библиотеке, деля время между «курилкой» и работой над мемуарами, до сих пор, к сожалению, полностью не изданными, хранящимися в Отделе рукописей РНБ.

У некоторых обитателей курилок были общие черты с «пикейными жилетами» Ильфа и Петрова, но в целом такое уподобление было бы несправедливым.

В Фундаментальной библиотеке общественных наук в Москве, находившейся в нескольких минутах ходьбы от Кремля, на площадке перед входом в читальные залы я со второй половины 1940-х годов в течение лет двадцати наблюдал постоянный «толчок», где специалисты, занимавшиеся зарубежным миром и международными отношениями, рассказывали друг другу то, что не могли написать в своих работах. Мне неоднократно приходилось в этом убеждаться. Мало того, иногда разговор на профессиональные темы возникал и в маленькой комнате, где сидели читатели Отдела специального хранения. Его участники обычно выходили в коридор, чтобы не мешать остальным, а то и по соображениям благоразумия, тем более что их чтение по своему

содержанию придавало разговору особенно свободный характер и выводило его за узкопрофессиональные рамки.<sup>3</sup>

Вообще следует признать, что соображения политического характера были не единственной причиной того, что дело подчас ограничивалось разговором: во все времена самые различные обстоятельства ведут к тому, что не все легко ложится на бумагу и становится предметом официальной речи. Например, кулуарная оценка диссертации часто отличается от официальной. С другой стороны, разговор, начатый во здравие, часто переходил на заупокойно-политические темы, подобно тому, как стал народным стул в драке из-за него отца Федора и И. М. Воробьянинова у И. Ильфа и Е. Петрова. В 1960-е годы А. И. Доватур и Д. П. Каллистов выступали в ЛОИИ против С. Я. Лурье и А. И. Зайцева с критикой диссертации В. Н. Андреева, о котором еще предстоит рассказать. В официальной ВАКовской рецензии А. Г. Бокщина к упрекам Андрееву был добавлен в качестве неотразимого аргумента против присуждения ему степени похвальный отзыв о его работе, появившийся в итальянском журнале, разумеется, буржуазном.

Говоря о различии между тем, что историки писали и говорили по официально-служебным надобностям, и кулуарно-бытовым выражением их искренних мнений, я намеренно исключаю такой способ выражения этими людьми собственных мыслей, в том числе и сокровенных, как дневники и частная переписка. Подконтрольность пере-

---

<sup>3</sup> Даже во времена самых больших строгостей в ФБОН всегда существовала благоприятная для исследователей атмосфера. В моем представлении иногда приезжавшего читателя это было связано с именами Д. Д. Иванова, К. Р. Симона, Г. Г. Кричевского, И. А. Ходош, О. В. Беликовой. В течение многих лет это учреждение возглавлял акад. В. А. Виноградов, который организовал на базе ФБОН Институт научной информации по общественным наукам в специально построенном новом здании, совмещивший качества современного исследовательского учреждения с традициями академической библиотеки.

писки была известна и, несомненно, определяла ее характер. Иногда, как представляется, даже использовалась самими пишущими, чтобы засвидетельствовать свою лояльность к власти или ее расположение к себе, а то и снискать его. Дневниковые и иные записи вели, хранили (Ю. В. Готье, например, отправил свои за границу) не только старые историки, такие, как С. Б. Веселовский, но и представители следующих поколений (С. А. Пионтковский, С. С. Дмитриев, еще не ставший профессиональным историком А. Г. Маньков) и даже выдающаяся представительница партийного (ВКП(б)) начала в историографии А. М. Панкратова. Впрочем, число домашних записей с течением лет по понятным причинам не возрастало, как и степень их несоответствия официальной идеологии. Иногда дело сводилось к фиксации происходившего на совещаниях и заседаниях с собственными или чужими откликами на сказанное там, а то и с добавлением невысказанного. Однако и в этом случае письменный текст не обладал всеми свойствами откровенности, которые характеризовали устную речь.

По моим наблюдениям, на словах все получалось свободнее и ярче, особенно если собеседники не только имели основания доверять друг другу, но и не избегали иронического взгляда на дело.

Такой иронический взгляд мог быть истолкован как циничное отношение к предмету и действительно в какой-то мере с таким отношением соприкасался. Именно это, кажется мне теперь, было одной из причин того, что Б. А. Романов, наш учитель, неустанно воспитывая у своих учеников критическое отношение к существовавшей и выходявшей литературе (это относилось и к воплощению в ней доктринального начала), демонстрировал уважение не столько к ленинизму, сколько к самому Ленину, и избегал скептических о нем рассуждений с нами. Это совмещалось у него с минимальной приспособляемостью к доктрине, умением ограничиться декларативными или косметическими уступками ей. Не только у Б. А. Романова, но и у других людей его поколения не мог не играть роли печальный опыт ареста и

ссылки — собственный и окружающих. И вообще житейская мудрость, требовавшая осмотрительности, оказалась оправданной, когда по прошествии многих лет в архивах ФСБ обнаружались доносы с подробным изложением кулуарных бесед, которые вели между собой историки.

С другой стороны, мне всегда казалось, что скептицизм — как научно-методический, источниковедческий, так и общеметодологический, политический, — необходим для успешной исследовательской работы.<sup>4</sup> А уж для оценки политической действительности он был жизненно важным, пожалуй, единственным, но очень эффективным средством. Нельзя при этом не отметить, что скептицизм этот был, применяя ныне распространенные термины, не только разрушительным, но и созидательным. Он способствовал возникновению общественных представлений о таких событиях и явлениях, которые власть стремилась обойти молчанием или изобразить в нужном ей виде. Догадывались мы об очень многом. Ставшие ныне известными секретные документы часто это подтверждают.

Не разноцветные бюллетени ТАСС с международной информацией, предназначавшейся для партактива различных степеней (белые — для верхов), помогали делу, а умевшие наблюдать, анализировать слухи, видеть сквозь землю. Старый и опытный тассовец А. Л. Зельманов, мой близкий знакомый 1960-х—1970-х годов, брал газеты и читал ее со сво-

---

<sup>4</sup> В какой-то мере это относится и к другим отраслям знания, включая самые точные науки. «Привычка свободного выражения своих мыслей и логических построений без любых ограничений какими-то рамками, несомненно, была полезна для рождения оригинальных научных и технических идей, — писал в воспоминаниях о Юлии Борисовиче Харитоне один из руководителей Института экспериментальной физики в г. Сарове В. М. Мохов. — Мы, сознавая, что наши анекдоты не могут не доходить до ушей КГБ, иногда шутили: “По-видимому, служба Берии понимает, что без возможности свободного обмена мнениями не будет высокоэффективной творческой работы ученых, необходимой для создания хорошего ядерного оружия, и поэтому все это до поры до времени позволено”» (Юлий Борисович Харитон: Путь длиною в век. М., 1999. С. 318).

ими конъектурами, показывая то содержание газетного сообщения, которое оно могло первоначально иметь.

Нельзя, впрочем, не отметить, что и в частно-кулуарных ситуациях поведение историков, как и других граждан, часто имело официозный оттенок. Дело здесь было, как представляется, в сочетании влияния официальной идеологии с определяемой естественными человеческими склонностями тенденцией к ее восприятию. Напомню слова И. Ильфа и Е. Петрова: «Надо не только любить советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила».<sup>5</sup> Добавлю два соображения глубокого и яркого современного автора Самуила Лурье (газета «Дело», № 32 (291), 25 авг. 2003). Первое: «Пресловутое тогдашнее двоемыслие было ведь не двоедушие, а всего лишь недомыслие: дефект мышления, вскормленного ложью». Второе, как мне кажется, не совсем соответствующее первому: «Молчать или врать — третьего не дано».<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> И. Ильф, Е. Петров. Любовь должна быть обоюдной // Ильф И., Петров Е. Собр. соч. В 5 тт. М., 1961. Т. 3. С. 291–292.

<sup>6</sup> Не получившие такой жизненной школы дети с присущей им специфической логикой и наивностью оказывались иногда ближе к истине, чем их родители, умудренные опытом, собственным и предшествовавшим поколениям. Речь здесь идет не только о политике. С. Н. Валк высоко ценил занятия с первокурсниками, с которыми изучал «Русскую правду» «с самого начала», как бы вне историографической традиции. Моей жене, как и другим преподавателям истории в средних учебных заведениях, неоднократно приходилось убеждаться в цепкости и самобытности детского восприятия исторического материала. Когда в 1989 г. в № 30 журнала «Огонек» появилась фотография встречи Риббентропа в Москве, в подписи к которой встреча датировалась 30 марта 1939 г., между тем как известно о двух его визитах в Москву — в августе и в сентябре, то первыми заметили это (разумеется, насколько мне известно) ученики Б. Рубежовой. А дети ведь выросли... Одной из школ самостоятельной мысли для старшеклассников был в 1960-е—1970-е годы литературный клуб «Дерзание», которым руководил Алексей Михайлович Адмиральский. Уже будучи студентом, один из прежних членов клуба, посетив его, обронил бумажку со своими суждениями о Ленине, попавшую в КГБ. К тому, что об этом уже написано, должен добавить, что установление авторства

В профессионально-производственной сфере дело обстояло значительно сложнее. Историки писали и печатались. Приспособленчество всегда считалось дурным качеством, но приспособливаться было необходимо, если уж Вы стали профессиональным историком (так говорил Б. А. Романов). Профессионализм в наших условиях стал включать в себя не только особую, кроме вообще необходимой, осмотрительность и житейски полезную уклончивость, но и ряд других навыков и умений. Среди них весьма важным было умение предвидеть движение начальственной мысли, часто четко не выражавшейся, вероятно намеренно. Е. В. Тарле, по слухам, сетовал: «Сказали бы, что танцевать». В ходу были каучуковые, или каутскианские, как это тогда называлось, двусмысленные формулировки, хотя за них могли и наказать. Один влиятельный московский администратор говорил мне (речь шла об освещении российско-китайского разграничения в «*Краткой истории СССР*»): нужно, чтобы одинаково правильно читалось и слева направо, и, как по-еврейски, — справа налево.<sup>7</sup>

---

записки продолжалось два года, потому что А. М. Адмиральский изъял из бумаг клуба все, что этому помогло бы. Репрессии, которым он был за это подвергнут, вскоре его доконали, друзья и ученики поставили ему памятник со словами: «Человеку, литератору, гражданину».

<sup>7</sup> Очевидно, совет этот был выполнен и помог делу, потому что цензор Горлита в Ленинграде, к которому я был послан дирекцией издательства именно в связи с вопросом о границах с Китаем, безо всяких разговоров дал свое разрешение. Вообще вхожи в Горлит были лишь руководящие работники издательства, но на сей раз они двинули вперед меня. Я имел их указание просить цензора, чтобы он позвонил им по телефону в любом случае. Он сделал это и услышал просьбу не зыбыть поставить разрешительный штамп на каждом печатном листе. Это взбесило его, и он заявил хорошо знакомому собеседнику: «Приходи сюда сам, я тебе поставлю штамп на каждую ягодицу». Кстати, передо мной от него вышла дама из Ленконцерта, не получив разрешения на какой-то текст, который он счел унижающим достоинство Е. Евтушенко.

Расскажу о встрече с другим цензором, который сам меня вызвал. Я был институтским редактором вышедшей в 1963 г. книги

Помню, как выдающийся московский исследователь П. Г. Рынзюнский говорил о нашем старшем коллеге в Ленинграде Ш. М. Левине, у которого мы многому научились («Скажет что-нибудь, а нам на полгода работы», — заявил однажды Б. В. Ананьич), что он заранее знает, как обернется дело в трактовке той или иной проблемы. А. П. Погребинский, когда начальство обрушилось на экономиста Касимовского, посмеявшегося заговорить о возможности предпочтения производства товаров группы «Б» перед группой «А», т. е. товаров народного потребления, а не средств производства, сказал мне, что понимал всю опасность такого выступления, а потом другим тоном добавил, что прав-то именно Касимовский.

Разумеется, многое зависело от свойств человеческого характера. «Мы с Вами не болтуны, — говорил мне мой московский знакомый В. В. Альтман, человек очень остроумный и осведомленный, — а просто разговорчивые...».

Различию между тем, что писалось, и говорившимся в частных беседах способствовало, но лишь опосредованно, то обстоятельство, что в устной речи, произносимой в официальной обстановке, самими властями разрешалось кое-что из не предназначенного для печати, но требовавшего, с их точки зрения, огласки или полуголаски. Это относилось и к тому, что считал нужным пустить таким образом в оборот сам Сталин. В частности, в 1934 г. он прибегнул к такому приему на заседании Политбюро, посвященном учебникам по истории, сказав, что русский народ, всегда присоединявший другие народы, приступил к этому и сейчас. Это был сигнал к приданию отечественной истории патриотического духа. Запись в дневнике, сделанная присутствовавшим на заседании С. А. Пионтковским, осталась, насколько известно, единственным письменным свидетельством об этом. А следы произ-

---

С. И. Потолова *«Рабочие Донбасса в конце XIX века»*. «Н. С. Хрущев часто вспоминает о своей работе на шахте, а в книге этого нет», — услышал я. По согласованию с автором я сослался на то, что речь идет о другом времени, привел еще какие-то резоны. Он неохотно уступил, но когда я был уже в дверях, с житейской озабоченностью произнес: «Не обидеть бы нам с вами старика».

несенного вскоре стали весьма заметны в художественной и научно-популярной литературе, театре, кино. Германские власти усмотрели в этом благой для себя знак, расценивая даже антинемецкие мотивы в освещении далекого прошлого, вплоть до битвы на Чудском озере, как победу в советской политике патриотического начала над интернационалистским и необходимую предпосылку к заключению советско-германского пакта. Аналогичным образом в том же году, хотя и не устно, а в форме закрытого письма членам Политбюро, Сталин осудил взгляды Ф. Энгельса на внешнюю политику России и снял с нее одним наиболее агрессивной из европейских держав. В течение нескольких лет это письмо оставалось в «самиздате». Сообщенное неофициальным образом всегда можно было отрицать. Кстати сказать, одновременно с курсом на патриотизацию после слов о русском народе, возобновившем собирательство, было широко развернуто академическое изучение истории именно входивших в состав СССР народов. А свое истинное отношение к сочетавшейся с этим курсом теории формаций Сталин все в том же 1934 г., во время составления своих совместных с А. А. Ждановым и С. М. Кировым замечаний об учебниках истории, выразил за обедом под общий хохот многозначительной шуткой: «Для схематиков история делится на три периода: матриархат, патриархат и секретариат».<sup>8</sup>

Практиковалось и использование подготовленного властями и разученного по шпаргалке людьми «из народа» устного слова, которое затем становилось в печати «голосом народа». Вспомним у А. Галича мужчину-активиста, получившего по ошибке инструктора обкома письменное задание «как мать и как женщина» заклеить израильских агрессоров, или в кинохронике лица людей, требовавших на митингах смертной казни для обвиняемых на политических процессах. Мне довелось быть лишь на митинге, одобрявшем приговор по делу Берии, в Библиотечном институте, где я тогда работал. Один из ораторов, профессиональный актер, выступавший с большим чувством, потом сказал: «Тут хоть было за что...».

---

<sup>8</sup> Жданов Ю. А. Взгляд в прошлое. Ростов-на-Дону, 2004. С. 147.

Органы НКВД практиковали «запускание» слухов, то ли подтверждаемых, то ли нет. Это давало не только пищу, но и правовое основание для разговоров, хотя и сомнительное. Впрочем, это особый сюжет, имевший к свободе словоговорения ограниченное отношение. Иное дело — система устной партийной пропаганды, проводившейся лекторскими группами, существовавшими при партийных и комсомольских комитетах — от центральных до районных. Их члены работали чаще всего на общественных началах. Существовали и штатные лекторы, которые входили в партийную номенклатуру как лекторы ЦК ВКП(б), обкома, горкома или райкома. При партийных комитетах были парткабинеты, где лектор нижестоящего партийного органа (или выросшего из созданного во время войны Лекционного бюро Всесоюзного комитета по делам высшей школы Общества по распространению политических и научных знаний, позже — Общество «Знание», оно также участвовало в политической пропаганде) мог на месте прочесть стенограмму лекции лектора ЦК, а когда появились магнитофоны, можно было прослушать звукозапись. Стенографировались и лекции рядовых лекторов, но с целью контроля за их содержанием. Так, придя однажды с лекцией в ремесленное училище на Староневском, я застал в аудитории пожилую интеллигентную женщину, которая сообщила мне, что она по поручению парткабинета горкома должна стенографировать мою лекцию. Через несколько дней С. А. Могилевский, заведовавший отделом этого кабинета и по совместительству преподававший на нашей кафедре истории международных отношений в Университете, рассказал, что именно эта дама записала в молодости фразу Ленина «**Есть такая партия!**» на первом Съезде Советов.

Контроль за лекторами был строгий, как и наказания за отклонения от официальной линии, «отсебятину» на официальном языке. Мой товарищ, А. М. Голдобин, участник войны, ученый арабист, был изгнан с работы всего-навсего за фразу о том, что Египет в 1967 г. превосходил Израиль в военном отношении. Может быть, в этом был усмотрен обид-

### *Вместо предисловия*

ный для арабов намек на то, что они несмотря на советскую помощь, потерпели поражение. В связи с XXV съездом КПСС Обком партии решил устроить его Ленинградское отделение Института востоковедения, хотя ленинградское управление кадров АН было против. Однако в институте Ю. А. Петросян и М. А.-К. Дандамаев это осуществили. Дандамаев получил замечание за утрату бдительности.

Мне в годы аспирантуры доставались лекции в цехах во время обеденных перерывов, в жилконторах Васильевского острова и даже в сельских клубах. Свобода слова в этих ситуациях давала себя знать. Однажды в цеху, когда я вел речь о Второй мировой войне, рабочий, послушав хитроумные построения о вступлении СССР в войну с Японией, сказал, как отрубил: «Пока мы воевали с немцами, японцы сидели тихо, а ведь могли бы напасть на нас, как это сделали мы, разбив немцев».

В Красном уголке жилконторы на 6-й линии меня слушали несколько мальчишек, гревшихся после катка, старушек, коротавших вечер (телевизоров еще не было), и вышедший из дома за бутылкой строевого вида человек в новом кожаном пальто, лично известный старшему дворнику, спикеру этой ассамблеи. Тот стоял на сцене в огромных валенках и видел свое предназначение в соблюдении полной тишины и обеспечении внимания к каждому моему слову. Когда человек в кожаном пальто пытался что-то сказать, со сцены раздавалось топанье валенками и произносилась фамилия нарушителя с добавлением слов о его происхождении по материнской линии.

Когда я закончил, заинтересованный слушатель подошел ко мне и с очень дружелюбной покровительственностью сказал: «Ты, молодец, прямо по периодической печати чешешь. Юрист, наверное. А я один живу. Слушай, пойдём ко мне, выпьем по сто пятьдесят. Логично будет, правда?». Судя по всему, мы были соратниками в идеологической борьбе...

Довольно часто в больших залах выступал с лекциями на международные темы Е. В. Тарле. Всякий раз собиралась многочисленная публика. Однажды я видел на его лекции сидящих в президиуме секретарей обкома. Простертая над ним

сталинская длань была для всех очевидна. Его лекции не носили, разумеется, партийно-пропагандистского характера — ни по блестящей форме, ни по терминологии. Они были просто беспощадно и ярко саркастическими по отношению к противникам СССР на международной арене. В высшей степени тактично и искусно Е. В. Тарле давал аудитории почувствовать не только свою уникальную эрудицию, но и осведомленность в текущей политике. Если все, что сообщалось аудитории обычными партийными лекторами, проходило целый ряд посредствующих инстанций, а сами они вместо иностранных журналов и газет читали инструктивные партийные материалы, то у Е. В. Тарле дело обстояло иначе. Чуть ли не ежедневно, будучи в Ленинграде, он приезжал в Библиотеку АН СССР. Его ученица Р. М. Тонкова, заместительница директора библиотеки, провожала его к грузовому лифту (пассажирского там еще не было), и он поднимался на верхний этаж, где помещался читальный зал Отдела специального хранения. Там он несколько часов читал текущую иностранную периодику и книги, изъятые из общего фонда ранее или поступившие из-за рубежа прямо туда. Обладая фотографической памятью, записывал он очень мало. А с кафедры воспроизводил целые фрагменты прочитанного. Он говорил, что собственной библиотеки не собирал, поскольку Публичная библиотека все равно лучше. Его роль ученого-историка, анализирующего современность, была по уникальности подобна роли И. Г. Эренбурга в публицистике и Д. И. Заславского в политической сатире.

Основными темами лекций в партийной пропаганде были *«Международное положение СССР»*, несколько реже — *«Международное и внутреннее положение СССР»*. Лекции на такие темы, как правило, не публиковались, хотя Общество по распространению политических и научных знаний издавало отдельными брошюрами лекции по отдельным вопросам международной политики, носившие приближенный к специальному, академическому изданию, характер.

Среди лекторов были высокие профессионалы-пропагандисты, мастерски вкраплявшие в свое изложение сведения,

### *Вместо предисловия*

для печати не предназначенные и в ней не появлявшиеся. В середине июня 1941 г. я вместе со своим одноклассником А. Д. Юровым был на лекции едва ли не самого популярного в течение многих лет ленинградского лектора-международника Л. Н. Добржинского, который в весьма недвусмысленной форме заявил о предстоящем в ближайшее время начале советско-германской войны. Помню, что он придал своим словам характер предупреждения о возможности сговора империалистических держав на антисоветской основе. По всей вероятности, это сообщение было связано с тем, что 19 мая был подписан к печати очередной номер журнала «*Большевик*», содержавший письмо Сталина членам Политбюро против Энгельса. Опубликование этого письма, в течение шести лет остававшегося в тогдашнем самиздате, должно было служить сигналом, который мог быть дан и с помощью устной пропаганды. О пропагандистской подготовке к войне теперь появились специальные работы. Устное слово играло в этом значительную роль.

Я успел рассказать о предупреждении Добржинского жившей в нашей семье Х. Г. Щур, уехавшей 17 июня на лето в Киевскую область и оказавшейся в оккупации. Как и А. Д. Юров, она часто вспоминала об этом.

Кроме Л. Н. Добржинского, в Ленинграде пользовались широкой популярностью Соломоник, Марон, Могилеввер, Кадачигов, Федосеев и др. Они выступали на так называемой центральной площадке Лектория (Литейный, 42). Одно время об этих лекциях помешались объявления в газетах.

Были и другие, многочисленные, менее знаменитые, но весьма квалифицированные лекторы, среди которых в 50-е годы и позже было много бывших военных политработников. Они выступали перед рабочими (иногда в цехах) и служащими различных организаций. Помню, однажды, вероятно, в 1956 г., в нашем ЛОИИ (Ленинградском отделении Института истории АН СССР) выступал с лекцией о международном положении пожилой, никому из собравшихся не известный человек по фамилии Столяров. В небольшом директорском кабинете его слушали самые квалифицированные историки города.

Его это ничуть не смущало. Без всяких внешних эффектов и ораторских приемов он так просто и ясно изложил дело, что Б. А. Романов на обратном пути заявил мне: «Молодец Столяров» — и решил запомнить эту фамилию.

В сущности, и ознакомление членов партии и беспартийных с докладом Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС, считавшимся секретным, но прочитанным вслух на предприятиях и в учреждениях, как и получившие затем широкое распространение читавшиеся таким же образом на партийных собраниях закрытые письма ЦК, были формами устной пропаганды, имевшей такие возможности, которых не давала печатная.

Теперь мне кажется, что с помощью устной пропаганды, носившей, как правило, лекционный характер и предназначенной в основном для той части населения, которая была если не думающей, то задумывающейся, имелось в виду несколько умерить деланный пафос официального — как письменного, так и устного — слова. Этот пафос — все равно: гневно-разоблачительный и клеймящий или благостно-прославляющий — своей фальшивостью мог оказаться опасным. В 1958 г., когда я слушал речь Хрущева на Дворцовой площади в Ленинграде (она была произнесена перед слушателями, колоннами приведенными от райкомов партии, и транслировалась только по городской трансляционной сети, а репродукторов не было в интуристовских гостиницах), у меня сложилось впечатление, что у него после обеда одерживало верх влечение к нормальной человеческой речи. Несовместимость ее с требованиями строгой партийности была очевидна.

Обращаясь к руководителям северо-западных областей с упреком в том, что они стараются избегать повышенных обязательств в деле роста поголовья скота, он сказал: «Чего вам-то бояться, это там, где скота много, поголовье увеличить трудно, а у вас есть в хозяйстве полтора одра, завели еще столько же, и вот вам рост на 100%». Потом весьма образно изложил свою беседу с лидером какой-то африканской страны. «Мы с Николаем Александровичем Булганиным, — рассказывал он, — отвели его на приеме в уголок и говорим: “Вот ты там у себя принц (прозвучало это как

«прынец»), ну, а как, по-твоему, у нас люди живут?» Он говорит: “Хорошо, в домах живут, и все в штанах ходят, у нас этого нет”».

Разумеется, это были черты уже более либерального времени. Но и в страшные 30-е годы использовать казенную формулу показалось неуместным даже заместителю наркома внутренних дел Н. И. Ежова М. П. Фриновскому, пришедшему арестовать П. П. Постышева. Он предпочел невинную, казалось бы, фразу, страшнее которой на деле не было ничего: «Вы готовы, Павел Петрович?». А в 1960 г. к сыну Постышева явился человек, расстрелявший его отца и мать и сфотографировавший (полагаю, что для Сталина) их тела. «Такая у меня была работа», — объяснил он. Обо всем этом сын Постышева Леонид рассказал в телевизионной передаче Константина Смирнова «*Большие родители*» на ОРТ 14 декабря 2002 г.

В научной жизни формой допускаемой устной гласности были организованные дискуссии по методологическим вопросам, дававшие руководству возможность судить о взглядах тех или иных ученых, выбирать и поддерживать предпочтительные и наиболее целесообразные для него, отвергать признанные неподходящими или чуждыми и даже враждебными и карать за них. Отмалчиваться было нельзя: это не поощрялось, так как вело к официально неодобряемой (впрочем, далеко не во всех случаях) «кладбищенской тишине». Дискуссии в той или иной форме отражались затем в печати. Обсуждение рукописей готовых исследований было обязательным условием рекомендации их к печати. Преимущественное внимание уделялось при этом методологической и политической стороне дела. Коллективные труды, которым придавалось основополагающее значение, становились предметом широкого диспута с предварительным их размножением ротационным или типографским способом (оно называлось «макетированием»), предшествовавшим их изданию в окончательно одобренном виде.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Макеты делались иногда с такой основательностью, что могли, сохранившись там, куда были разосланы (как правило, их

Все это не могло не способствовать разговорчивости историков, сочетанию в их частных беседах друг с другом официозности и некоторого своеобразного вольномыслия, вызванного причинами производственно-творческими, требованиями успешной научно-педагогической деятельности. Сочетание это имело иногда довольно причудливый характер, особенно в тех случаях, когда собеседники затруднялись или ошибались в оценке ситуации, друг друга и т. п.

Я отчетливо сознаю, что могу быть обвинен в уходе от строгой научности. Читатель сейчас увидит, что я таким обвинениям уже подвергался. Но должен заметить, что производившийся в то время, о котором я рассказываю, историографический и источниковедческий анализ событий и явлений, независимо от того, к каким историческим периодам они относились, был связан с множеством обстоятельств, казалось бы, чуждых науке, но, к сожалению, очень и очень на нее влиявших, в гораздо большей мере, чем в другие времена. Мало того, именно поэтому такие обстоятельства подчас с наибольшей яркостью характеризуют то трагическое время, о котором идет речь. И для подлинно научных оценок историографии важны реалистические представления об условиях, в которых жили создававшие ее люди. Условия эти,

---

не собирали), сыграть роль книги, если она так и не вышла, или одного из предварительных вариантов вышедшей. Случай первого рода произошел с макетом *«История СССР. Россия в период победы и утверждения капитализма (1856–1894). Ч. 1. Социально-экономическая и политическая история»* (М., 1951), в котором глава XIII (*«Внутренняя политика царизма в 80-х — начале 90-х годов»*, с. 910–994) написана С. Н. Валком.

Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б) практиковала издание читавшихся в ней лекций, в том числе по таким проблемам и целым разделам истории, по которым общевузовских учебных пособий не существовало, например курс лекций проф. Л. И. Зубока по новейшей истории Запада. В книжные магазины эти издания не поступали, но в проходной ВПШ на Миусской площади их можно было купить. По сообщению Ю. А. Жданова, сына А. А. Жданова, изданием их ведала его мать (*Ю. А. Жданов. Взгляд в прошлое. С. 66*).

вливающие на ими написанное, как правило, оставались за его рамками. Не только быт в узком смысле этого слова (в какой квартире жили и т. д.) имеется при этом в виду, но и житейские обстоятельства в отношениях между различными частями исторической корпорации, между историками и властью.

Подлинная картина жизни того времени много сложнее тех представлений, которые складываются о ней теперь и сводятся иногда к тому, что люди жили в идеологической клетке, боясь друг друга, боясь власти, занимались сплошным доносительством и имели в виду единственную цель — писать, как требовалось. Так действительно было, но было и не только так.

Во всяком случае историк, как, впрочем, и представитель другой профессии, и не только в советское время, на трибуне, на кафедре и в жизни — это очень любопытная возможность для сопоставления. У Александра Яшина есть рассказ «*Рычаги*». Несколько членов сельской партийной организации в ожидании единственного недостающего ведут между собой нормальный человеческий разговор. Открывается дверь, входит тот, кого ожидали, начинается собрание, и те же люди теми же голосами начинают произносить казенные вещи.

Относительная и частичная (так выражался Сталин о стабилизации капитализма, добавляя еще и слово «временная») свобода неофициального, а то и официозного или полуофициального устного слова была, как мне теперь кажется, хотя и не прямым, но несомненным и явным идеологическим последствием кризиса сталинского режима. А начался этот кризис с того, что достигший всей полноты власти Сталин, заключив советско-германский пакт, вступил на путь великодержавно-имперской политики. Собственно, между всевластием диктатора и такой политикой была прямая и двусторонняя связь. Для поддержания и увеличения мощи режима такого типа требовалась череда эффектных внешних побед, а сам этот режим был обязательным средством для того, чтобы их добиться.

Как представлял себе Сталин способы удержания всего того, что он принялся присоединять? Когда министр

иностранных дел Литвы Юозас Урбшис в октябре 1939 г. после подписания договора с СССР спросил Сталина, действительно ли союзные республики могут, если пожелают, выйти из Советского Союза, тот ответил: «Да, если пожелают, могут, но в каждой из них на то есть коммунистическая партия, чтобы они никогда этого не пожелали».<sup>10</sup> Вероятно, он в течение какого-то времени считал, что система власти, созданная им в старых пределах страны, окажется достаточно эффективной и на вновь присоединенных территориях. Однако для удержания в повиновении в требовавшейся ему степени не только прежних, но и новых подданных и всей империи при его методе управления необходимо было колоссальное напряжение силовых средств, подчинение этой цели экономических, политических и идеологических ресурсов дополнительно к тому их предельному объему, который поглощала метрополия. Империя вообще явление малоустойчивое. Сталинская же, требовавшая для своего сохранения чрезвычайных мер немислимого характера, созданная в ходе Второй мировой войны, покончившей с другими империями, исторически запоздала.

Раскрепощение сознания с развязыванием языков (или, скорее, — опасения Сталина перед такой возможностью) обычно приурочивается к концу войны и объясняется европейскими впечатлениями солдат и офицеров Советской армии. Эренбург писал о вошедшем в немецкий дом солдате, который, усвоив лозунг: «Добьем зверя в его берлоге!», сказал: «В такой берлоге жить можно». Считалось, что Сталин предвидел рецидив декабризма в офицерской среде.

Но уже начало войны породило в обществе элементы независимого мышления. Понимание этого заставило Сталина 3 июля 1941 г. произнести слова «братья и сестры», «друзья мои», которых он никогда не употреблял ни до того,

---

<sup>10</sup> *Урбшис Ю.* Литва в годы суровых испытаний: 1939—1940. Вильнюс, 1989. С. 44.

ни после в своих речах.<sup>11</sup> Вот воспоминания того времени М. Я. Гефтера, изложенные и осмысленные им в 1987 г.:

«Смоленщина, начало октября 1941-го, удивительная голубизна неба и еще более удивительная тишина, бредущий по обочине красноармеец, один-единственный впереди и позади, — и мое упрямое, злое нежелание довериться его словам: там, в роще, немецкие танки. <...> А перед глазами — человек, брошенный на произвол судьбы, и он же, этот человек, внезапно, на кромке смерти, обретающий свободу распорядиться собой. Именно *свободу*. Конечно же, не добровольно принял он на свои “одинокие” плечи груз безмерного бедствия и отпора сверх приказа (сверх и даже без <...>), по крайней нужде взвалил, а добрая воля пришла потом, пришла и утвердилась... Как очевидец и как историк свидетельствую: 41-й, 42-й множеством ситуаций и человеческих решений являли собой стихийную десталинизацию (и до сегодняшнего дня не вполне оцененную в этом ее сквозном, но нестойком качестве)».<sup>12</sup>

Может быть, среди плодов патологического доверия к Гитлеру, проявленного Сталиным, это был один из самых для него ядовитых.

Действительно, в эти осенние месяцы 1941 г. Сталину пришлось выслушать просьбу Г. К. Жукова выбирать в разговоре с ним выражения.<sup>13</sup> Что думал тогда же о себе и собственной судьбе обычно упивавшийся неограниченностью своей власти человек, заботливо спрашивая о самочувствии К. А. Мерецкова, арестованного сейчас же после начала войны и выпущенного из тюрьмы, где следователь мочился ему в лицо? Мало того. Неспособность скрыть свой страх перед ответственностью за все содеянное, понимание им своей бесконечной вины с надеждой на без-

---

<sup>11</sup> «В докладе 3 июля 1941 г. начало “К вам обращаюсь...” из “Дней Турбиных”, которые смотрел 14 раз» (Дневники Натана Эйдельмана. М., 2003. С. 101).

<sup>12</sup> *Гефтер М. Я.* Сталин умер вчера...: Беседа с журналистом Г. Павловским // *Гефтер М. Я.* Из тех и этих лет... М., 1991. С. 242.

<sup>13</sup> *Симонов К. М.* К биографии Г. К. Жукова // *Симонов К. М.* Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине. М., 1990. С. 318.

наказанность отмечены, по крайней мере, дважды. Речь идет о его поведении в первые дни после гитлеровского нападения и о телефонном звонке Коневу на Западный фронт в критический для Москвы момент октября 1941 г. с «почти истерическими словами о себе в третьем лице: “Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек...”».<sup>14</sup>

М. Я. Гефтер, в 1987 г. отмечавший нестойкость десталинизации первых лет войны, в 1990 г. тем не менее писал применительно к послевоенному времени о Сталине, «гонимом неизбежным комплексом ненужности».<sup>15</sup> Сталин и сам в одной из первых своих послевоенных поездок по стране пожаловался сопровождавшему его министру путей сообщения ген. И. В. Ковалеву на членов Политбюро:

«Они понимают, что я не могу все знать, и хотят сделать из меня факсимиле. Я не могу все знать. Я обращаю внимание на разногласия, на возражения, разбираюсь, почему они возникли, в чем дело. А они прячут это от меня. Проголосуют и спрячут, чтоб я поставил факсимиле. Хотят сделать из меня факсимиле».<sup>16</sup>

Единственным, кого он в этом не обвинял, был вскоре расстрелянный Н. А. Вознесенский. Свобода слова в такой ее форме нужна была и диктатору, но традиционный расстрел за нее представлялся ему полезнее.

За мощным и грозным фасадом победившей ценой невероятных жертв в невиданной до того войне сверхдержавы и в окружавшем ее мире наблюдались явления, события, настроения, несовместимые с искусственной величием сталинской конструкции, с неременным признанием ее безупречности и неприкосновенности.

---

<sup>14</sup> *Симонов К. М.* Беседы с маршалом Советского Союза И. С. Коневым // *Симонов К. М.* Глазами человека моего поколения. С. 351, 360.

<sup>15</sup> *Гефтер М. Я.* После Сахарова // *Гефтер М. Я.* Из тех и этих лет... С. 474.

<sup>16</sup> *Симонов К. М.* Глазами человека моего поколения. С. 139.

Само собой разумеющаяся немыслимость каких-либо слабостей внутри- или внешнеполитического порядка, беспспорность тезиса о коренном превосходстве социализма над капитализмом были опасны тем, что требовали действительно недостижимого совершенства социально-экономического, политического и государственного строя. Между тем искусственность задуманного и осуществленного во всех сферах жизни была связана со многими дополнительными опасностями и трудностями в деле его сохранения. Как говорят водопроводчики, система еще работает, но «протечка-то идет...»

Вероятно, первой после войны внешнеполитической сталинской если не неудачей, то, во всяком случае, бесславной и вредной для его престижа в коммунистическом мире операцией была, выражаясь современным языком, сдача им англичанам греческих коммунистических партизанских сил, осуществленная на протяжении второй половины 1940-х годов во исполнение договоренности с У. Черчиллем, достигнутой в 1944 г. Такое было ему не впервой. По отношению к испанским республиканцам он уже проделал это, вызвав попавшие в западную печать упреки Ф. Раскольникова и снискав публичную похвалу Гитлера. Нечего и говорить о югославской истории, которая, помимо всего прочего, поставила под сомнение один из главных сталинских лозунгов: «Социализм — это мир», с большой наглядностью показав острейший конфликт между странами, считавшими себя оплотами социализма. Поражения в вызванном им берлинском кризисе и развязанной по его инициативе корейской войне были очевидны, зародившийся конфликт с Китаем оставался закулисным, но некоторые его признаки оказывались различимыми.

Наведение идейно-политической строгости у себя дома было без массовых арестов каким-то не до конца устрашающим. Да и литературно-музыкальные темы постановлений ЦК вроде бы не располагали к этому. Как бы то ни было, и название осужденного зощенковского рассказа про обезьяну, и возвращение к старой теме «сумбур вместо музыки» (о Д. Д. Шостаковиче), и формула «полумонахиня, полублудница» (об А. А. Ахматовой) были не чета «троцкистским и иным двуруш-

никам», «фашистским шпионам», «вредителям» и т. п. Композитор Н. В. Богословский представлялся при знакомстве как «кабацкий меланхолик» в соответствии с оценкой его музыки в постановлении ЦК. Все это было хотя и не весело, но не так страшно, как призывы к казням на митингах 30-х годов.

Не ладилось дело у Сталина и с судебными процессами. Так называемые поповцы были осуждены и немедленно расстреляны без всякого публичного оповещения об этом. А что это возбуждало недоуменные вопросы в среде партийных работников (ведь среди расстрелянных были не только члены и секретарь ЦК, но и член Политбюро) — Сталин понимал. Присутствие в зале суда выделенных для этого представителей ленинградского партактива, в большинстве своем вновь назначенных взамен арестованных, об этом свидетельствовало, но дела не меняло, несмотря на признание вины всеми без исключения обвиняемыми. Бывший на процессе Д. И. Петрикеев тогда, председатель облпрофсовета, затем заведующий ГОРОНО и ученый секретарь ЛОИИ, опровергал сведения о том, что А. А. Кузнецов составил в этом смысле исключение. Известно, что восстановление отмененной в 1947 г. смертной казни, которое провели 12 января 1950 г., когда «поповцы» были в тюрьме, от них скрыли.<sup>17</sup>

Процесс Еврейского антифашистского комитета, также расстрельный, прошел в полной тайне, и его организация не обошлась без трудностей. Председателя Военной коллегии Верховного суда В. В. Ульриха, сталинского мастера лже-

---

<sup>17</sup> По словам Ю. А. Жданова, вскоре после войны Сталин заявил членам Политбюро: «Война показала, что в стране не было столько внутренних врагов, как нам докладывали и как мы считали. Многие пострадали напрасно. Народ должен был бы нас за это прогнать. Коленом под зад. Надо покаяться». Предложение Жданова о созыве съезда партии, поддержанное Н. А. Вознесенским, Сталин, однако, отверг: «Партия. <...> Что партия. <...> Она превратилась в хор аллилуйщиков. <...> Необходим предварительный глубокий анализ». (Ю. А. Жданов. Взгляд в прошлое. С. 227). Не оказались ли для Жданова и Вознесенского сталинские слова о покаянии провокационной ловушкой?

судебных расправ, сменил генерал А. А. Чепцов, который, прервав суд, пытался протестовать против необоснованности обвинения, но был укрощен Маленковым ссылкой на решение Политбюро. Возможно, что для ведения дел по намеченному старому пути требовалось открытое участие самого Сталина в обличении новых «врагов», а он избегал этого. Более того, считалось, что для удостоверения на всякий случай своего интернационализма он запрещал учитывать национальные мотивы при распределении Сталинских премий. Это было темой шедших «сверху» слухов, находивших подтверждение на практике.

Шесть лет Сталин молчал на передававшихся по радио и демонстрировавшихся в кинохронике торжественных собраниях, в том числе на чествовании его по поводу 70-летия, где его поза и неподвижность, по впечатлениям присутствовавшего медика, были признаками психического расстройства. В течение нескольких послевоенных лет его здоровье и психическое состояние заметно для всех ухудшились. Проявлением неблагополучия был отказ от созыва партийного съезда или конференции с предвоенного времени до осени 1952 г. Еще в начале этого года проф. В. Н. Виноградов дал официальное заключение о необходимости для Сталина в связи с состоянием его здоровья полного ухода от всякой деятельности.<sup>18</sup> Краткая речь Сталина на XIX съезде была его публичным ответом на это. Хотя, как известно, на послесъездовском пленуме он заговорил о своей старости, уходить он не только не собирался, но, чтобы не допустить и мысли о преемнике, объявил английскими шпионами Молотова с

---

<sup>18</sup> Медико-физиологическую характеристику поведения и образа действий Сталина, оказавшуюся во многом соответствовавшей представлениям современников событий, см. в кн. проф. Я. Л. Рапопорта *«На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 г.»* (СПб., 2003. С. 218–220). Видный патологоанатом, Я. Л. Рапопорт принадлежал к числу тех представителей этой профессии, которые, по выражению пособия А. Я. Вышинского и сочинителя сценариев судебных процессов писателя Л. Р. Шейнина, провели так много вре-

арестованной женой и Микояна, женившего сына на дочери А. А. Кузнецова чуть ли не в день ареста ее отца, хоть и с «высочайшего» ведома.

Но тут ему был нанесен такой удар из Белграда, который, если он его ощутил и осознал, должен был стать для него грозным предзнаменованием. Вскоре после XIX съезда на югославском пленуме М. Джилас выступил против единоличной диктатуры как противоречащей социализму. Имелся в виду Тито, но для Сталина это был вернувшийся к нему бумеранг. Борьба с культом личности без произнесения такой формулы могла начаться и при жизни этой личности.

Поговорить (чтобы не сказать — посудачить) было о чем. Ведь публиковалось так мало, что без иностранного радио и разговоров общество стало бы слепоглухонемым. Начальст-

---

мени среди мертвых, что научились хорошо разбираться в делах живых. Как считал Я. Л. Рапопорт, у Сталина, узнавшего от Берии о диагнозе В. Н. Виноградова и потребовавшего заковать своего лечащего врача в кандалы, «вступила в силу цепь построений параноидного психоза с вывернутой логикой». На вскрытии у вождя были найдены, как указывал Я. Л. Рапопорт, «множественные мелкие полости (кисты) в ткани мозга в результате гипертонии и атеросклероза. Эти изменения (особенно локализация их в лобных долях мозга, ответственных за сложные формы поведения человека) и вызванные ими нарушения в психической сфере, — продолжал профессор, — наслонились на конституциональный, свойственный Сталину деспотический фон, усилили его. <...> Его криминологические представления были элементарно стереотипными: заговор с большим или меньшим числом участников <...> Сталин, вероятно, выключал из своего сознания, что идея заговора часто рождалась в его собственном мозгу, но по ходу ее реализации он начинал в нее верить, как в действительность.

Продажность элиты была следующим звеном в цепи параноидной логики Сталина. Он не верил в идейную преданность советских людей своей страны, хотя Отечественная война должна была убедить его в обратном, а органы безопасности представляли советское общество как изменников. <...> Сталину и его сподвижникам недоступна была мысль о том, что, несмотря на все достижения сталинской эпохи по моральному разложению советского общества, все же был какой-то качественный и количественный предел этому разложению. Предел определяла неистребимая природная, имманентная человеческая и гражданская совесть народа».

во в силу своей осведомленности понимало это в более полном объеме, чем публика. Специальные запреты были в ходу, но в них была та опасность, что они трактовались как подтверждение запретного, смешное могло показаться еще смешнее и т. п. Оставалась надежда на общую запуганность и благоразумие. А она таяла, со смертью Сталина — в ускоренном темпе. Он был еще жив, когда ведущие дело врачей перепуганные следователи вдруг стали расспрашивать своих невольных постоянных собеседников не об их злодеяниях, а о признаках болезни не называвшегося при этом лица. Следователь, допрашивавший доктора В. Л. Вовси, жену проф. М. С. Вовси, пожаловался ей, что заболел его дядя. В. Л. Вовси, выслушав медицинские сведения, не считаясь с горем «племянника», заявила: «Если Вы ждете наследства от Вашего дяди, считайте, что Ваше дело в шляпе!».<sup>19</sup>

А после смерти Сталина некоторые из его формул, которыми он клеймил противников, стали предметом острот. Еще до замирения с Югославией титовского министра госбезопасности стали называть «**бывшим кровавым псом Ранковичем**», а после замирения рассказывали о политинформации молодой учительницы, которая радостно сообщила о приезде в Советский Союз «**товарища Клика Тито**». Второго из этих слов без первого она до тех пор не читала и не слышала.

Ручейки информации, спускавшиеся вниз с самого верха, стали до некоторой степени обыденностью. Иногда сведения оттуда бывали пикантными. После гибели в автомобильной катастрофе в 1962 г. председателя Ленгорсовета Н. И. Смирнова между Хрущевым и считавшимся вторым после него лицом, переведенным из Ленинграда Ф. Р. Козловым, произошёл скандал, записанный в дневнике Н. Я. Эйдельмана как один из рассказов писателя Камила Икрамова через 8 лет после отставки Хрущева и 7 лет после смерти Козлова. Вот эта запись:

---

<sup>19</sup> *Я. Л. Рапопорт*. На рубеже двух эпох: Дело врачей 1953 года. СПб., 2003. Примечание Натальи Яковлевны Рапопорт к фотографии В. Л. Вовси между сс. 207 и 208.

«На каком-то заседании (Политбюро или Пленума) Козлов предоставил слово Хрущеву, а тот вдруг зачитал письмо [Козлова] из сейфа Н. И. Смирнова — о лысом м..., а дальше: “Скоро приеду, пусть Нинка и Эльвира подмоются”. У Фрола инсульт — Н. С.: “Сдохнет — похороним в Кремлевской стене, выживет — пусть пеняет на себя” (появилась шутка: “смерть возвратила в наши ряды”».<sup>20</sup>

Разумеется, мне не придется ограничиваться узкопрофессиональной тематикой историографического характера. Постараюсь дать представление о восприятии моими собеседниками политических событий разного времени, их мнениях и соображениях по поводу жизни страны.

Мои робкие попытки действий в этом направлении, предпринятые более десяти лет тому назад<sup>21</sup>, получили тогда резкий отпор со стороны одного из руководителей петербургской еврейской общественности А. Френкеля. В статье, озаглавленной «*Симптомы национального комплекса*», он писал, что меня «мало интересует подлинная история», вместо которой я представляю читателю «устную традицию», “фольклор”, а по существу подборку слухов, догадок и собственных эмоций».

«Эти эмоции настолько важны для автора, — продолжал А. Френкель, — что он, историк, считает возможным писать: “Опубликованные ныне документы о деле Еврейского антифашистского комитета не подтверждают как будто связи его уничтожения с образованием государства Израиль. <...> Тем не менее этих документов недостаточно, как мне кажется, чтобы опровергнуть тогдашнюю нашу трактовку”. И вновь возникает вопрос — на какого читателя это рассчитано? Кому “тогдашняя наша трактовка” важнее фактов?»<sup>22</sup>

Я не ответил тогда А. Френкелю, редакция журнала поместила свой ответ на его письмо, относившееся к журналу в целом. В этом ответе, в частности, говорилось:

---

<sup>20</sup> Дневники Натана Эйдельмана. С. 90.

<sup>21</sup> Р. Ш. Ганелин. 1) Государственный антисемитизм в СССР в 30–40-х годах // Барьер. № 1 (92). С. 11; 2) Возвращаясь к 40-м годам // Барьер № 2(93). С. 19.

<sup>22</sup> Там же. № 4/94. С. 16. Что, кстати, означает понятие «национальный комплекс»?

### *Вместо предисловия*

«Пассаж г-на Френкеля относительно статей Р. Ш. Ганелина выдает непонимание нашим корреспондентом как значения для истории XX в. того, что принято называть “устной традицией” (oral history), так и некоторых принципиальных пороков документальных источников<...>, из чего вытекает и очевидная для профессионального источниковеда необходимость критического отношения к документу, проверки его свидетельствами иного рода и т. д. Если бы только любая содержащаяся в документе информация могла считаться историческим фактом, насколько легче была бы профессиональная жизнь историков!».<sup>23</sup>

Вместо того чтобы отстаивать «тогдашнюю нашу трактовку», отошлю читателя к тому, что пишет специальный исследователь политики Сталина в еврейском вопросе. Первая попытка закрытия Еврейского антифашистского комитета с вывозом сотрудниками МГБ его документов была предпринята летом 1946 г. Однако закрытие не состоялось, и документы были возвращены. В конце того же года их изъяли вторично, но 2 февраля 1947 г. снова вернули. Весной этого года заведующий сектором ЦК Г. В. Шумейко неожиданно похвалил руководство Комитета за высокий уровень пропаганды.<sup>24</sup> А вот когда при поддержке СССР было создано государство Израиль<sup>25</sup> и «после скоротечного “медового месяца” уже в конце лета 1948-го появились первые признаки охлаждения между этими государствами», судьба комитета была решена.<sup>26</sup>

Профессиональное отношение историка к источнику, как представляется, в значительной мере основано на здравом смысле и жизненном опыте. Хочу поэтому привести в заключение слова автора книги, соединившей в себе черты

---

<sup>23</sup> Там же. С. 17.

<sup>24</sup> *Костырченко Г. В.* Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. М., 2001. С. 365–368.

<sup>25</sup> «Пик советско-сионистского сотрудничества пришелся на 14 мая 1948 г., когда следом за заявлением Лондона о прекращении действия мандата на Палестину и выводе оттуда своих войск в Тель-Авиве на заседании Еврейского национального совета было провозглашено создание Государства Израиль» (Там же. С. 402).

<sup>26</sup> Там же. С. 417 и след.

мемуаров и исторического исследования, Ф. Лясса. Она появилась в печати чуть позже письма А. Френкеля. Так же, как и А. Френкель, Ф. Лясс по образованию и роду занятий не историк, но вот как на одной из первых страниц этой книги он определяет свою задачу: «Основная причина, побудившая меня взяться за перо и поделиться своими предположениями, родившимися и окрепшими десятки лет тому назад, это глубокая вера в то, что живое свидетельство никогда не теряет своего значения в анализе и оценке исторических фактов».<sup>27</sup> По моему мнению, этому автору удалось свою задачу успешно решить.

Разумеется, я старался быть точным. В некоторых случаях мне удалось проверить свою память. Но это относится далеко не ко всему мною написанному, и мне остается сослаться на то, что ведь и апокриф характеризует время и обстоятельства своего возникновения.

Чтобы не выйти за рамки своей темы, я избегал того, что могло относиться лишь к собственному жизнеописанию. Именно поэтому оказались обойденными близкие и друзья.

---

<sup>27</sup> Лясс Ф. Последний политический процесс Сталина или несостоявшийся геноцид. Иерусалим, 1995. С. 15. Пример такого свидетельства содержится в телевизионном рассказе А. Пиманова (ОРТ, 3 авг. 2004 г.) о том, как сейчас же после смерти Сталина М. А. Сулов стал искать палку, которой, по его сведениям, Сталин побил Берию, ругая его по-грузински. Оказалось, что Берия уже сломал палку и сжег ее в камине. Назидания же Учителя так и остались неизвестными.

## КАК Я СОЗРЕВАЛ...

Это было, насколько я помню, в богатом событиями 1949 г. Я занимался изучением англо-американских отношений в 1890-е годы. Такую тему (так называемый «*Первый венесуэльский кризис 1895 г.*») дал мне мой университетский руководитель проф. Н. П. Полетика. Вскоре у меня возникла трудность, так сказать, методологического характера. Вопреки утверждавшейся тогда в советской американистике, в качестве общеобязательной, оценке политики Уолл-стрита как непременно агрессивной — у меня так не получалось. Такие же трудности испытывал и мой старший товарищ, занимавшийся сходными сюжетами. Он-то и предложил обратиться за советом к его дяде, профессиональному марксисту, незадолго до того уволенному по анкетным причинам с кафедры марксизма-ленинизма одного из институтов. Выслушав нас, наш консультант, мировоззрение которого не было поколеблено увольнением, заикаясь, но с полной непреклонностью заявил: «Я не знаю ва-ваших фактов, но я владею ме-методологией и знаю, что они все хи-хищники». В этот момент я ощутил, что процесс моего созревания завершен. Но когда он начался?

Ответить на этот вопрос я не могу. По-видимому, скептическое отношение к официальному слову и мнению развивалось со значительной постепенностью. Помню свой детский гнев против убийц Кирова. Не сразу понял я и то, что бежавшая в Ленинград из Киевской области после голодной смерти брата и шестерых его детей, ставшая ня-

ней моих сестер упомянутая в предисловии Х. Г. Шур — отнюдь не кулачка, а жертва человеконенавистнической политики большевизма, как и другая наша домработница, В. И. Мишина, погибшая во время блокады.

Однако то обстоятельство, что я на всю жизнь запомнил два происшествия 1930-х годов, хотя все их значение я понял только через много лет, дает мне основания отметить свои ранние соприкосновения с трагическими событиями того времени.

Мы, дети, играли во дворе-колодце нашего дома, когда мать или бабушка (я тогда не определил этого) одной девочки пригласила нас всех к себе домой посмотреть продаваемые девочкины игрушки. Преодолевая неловкость, она показывала нам их, бодрым тоном произнося рекламные фразы, призывая попросить у наших родителей денег на покупку. Но время от времени она останавливала свою очень интеллигентную речь и с изменившимся лицом тихо, но внятно говорила что-то вроде «**боже мой, боже**». Не могу сказать, когда именно я понял, что столкнулся с последствиями ареста и нуждой дошедшей до крайности интеллигентной семьи.

Летом 1936 г. мы выехали за город в поселок Лобаново на берегу Невы. Вероятно (я точно этого не помню), моя мачеха Б. И. Синельникова, врач, специалист по лечению туберкулеза у детей, по обыкновению, работала в одном из вывезенных на лето детских учреждений. Жили мы в закрытой на каникулы местной школе. В ней стоял рояль или пианино, играть на котором приходила девочка, сопровождаемая матерью. Это была семья начальника находившегося неподалеку лагеря для раскулаченных, или «спецпереселенцев», которые могли выходить из него, очевидно, для работы «на волю». Но по поселку они, насколько я помню, не ходили. Вдруг один из них подошел к школьному окну, у которого занимался мой отец. Это был человек высокого роста, с правильными чертами очень мужского лица, сдержанными манерами, одетый в черную спецовку и болотные сапоги. **«Говорят, Вы профессор. У нас человек болеет,**

чем — неизвестно, а заявлять боимся», — произнес он. Меня удалили, продолжение разговора и его последствия остались мне неизвестными. Отец, несомненно, должен был сказать, что он не медик, но, судя по неожиданному приезде из города коллеги мачехи, крупного медика проф. Ямпольского, просьба о помощи встретила отклик. Возможно, что оказала содействие и жена коменданта, почтительно относившаяся к детскому доктору. Хочу надеяться, что дело обошлось. Но до сих пор помню человека у окна с его опасениями, вызванными страшным опытом тех лет.

1937 год не мог пройти в моем сознании бесследно, особенно потому, что в микрорайон нашей 1-й образцовой школы (позднее 67-я, 80-я школа) входили оба так называемых Дома обкома. Первый, гигантский, с множеством дворов, дом № 26/28 по проспекту Красных зорь (до того, как и ныне, это был Каменноостровский пр., а в течение полувека после убийства Кирова — Кировский). В нем жили руководящие работники обкома, занимавшие свои посты при Кирове. Во втором доме, построенном на набережной Карповки под № 13, поселились те, кто появился в Смольном при Жданове. Дети тех и других учились в нашей школе, иногда вместе. Помню, что и после исчезновения отца продолжал в течение некоторого времени учиться сын расстрелянного председателя Ленгорсовета И. Ф. Кодацкого. В нашем классе учились мои друзья В. Гутман, отец которого приехал со Ждановым, был арестован в блокаду и погиб, и Ф. Запорожец, сын заместителя начальника УНКВД в момент убийства Кирова. Отец его исчез после этого из Ленинграда, семья оставалась в городе до 1938 г.<sup>28</sup> Это наводило на размышления, хотя

---

<sup>28</sup> Разумеется, это не может не иметь отношения к обстоятельствам убийства Кирова. Кстати, об этих обстоятельствах. В 1970-е годы д-р А. М. Бомаш, дочь известного депутата IV Государственной думы М. Х. Бомаша, работавшая в 1934 г. в медпункте Смольного, рассказала мне, что приехавший после убийства Кирова Ста-

разговоров на такие темы я не помню. Вероятно, в нашем детском сознании, как это было и вообще в интеллигентской среде, гитлеровская угроза перевешивала и подавляла собой все творившееся в стране, хотя постановочно-режиссерская чрезмерность сцен открытых процессов оставляла ощущение фальши, особенно в кинохронике. Года за два до начала войны я стал посетителем лектория на Литейном пр., где антифашистская тема до 1939 г. превалировала.

Помню, что советско-германский пакт был шоком для меня и моих школьных товарищей. Он лишал происходившее в стране оправдания антифашистскими мотивами.

Поход в Восточную Европу и финская война с образованием териокского правительства О. В. Куусинена были даже для ученика 6-го класса кардинальными событиями, пропагандистское обоснование которых представлялось очевидно неудовлетворительным. Куусинена иногда называли Куусинеску, имея в виду возможность его употребления и в Румынии.

Германское нападение после успокоительного тассовского сообщения 14 июня подрывало веру в непогрешимость власти. У меня были и частные поводы к этому. Примерно через неделю после начала войны позвонил по телефону мой дядя, брат моей мачехи, А. И. Синельни-

---

лин распорядился об оказании медицинской помощи официантке столовой Смольного Маше Волковой, находившейся в нервном расстройстве из-за того, что, услышав разговор обслуживавшихся ею лиц о подготовке покушения на Кирова, она сообщила об этом в НКВД, но это не помогло делу. Сталин посетил ее в медпункте, утешал, подарил свой носовой платок. За некоторое время до того, как рассказать мне об этом, А. М. Бомаш встретила М. Волкову на улице. Пользуясь случаем, должен вспомнить и рассказ А. М. Бомаш о ее встрече с В. В. Шульгиным в Ленинграде в 1960-е годы во время съемок фильма «Суд истории». Узнав, что она дочь его думского коллеги, он сказал: «Да, ему было нелегко в Думе, так же, как было бы мне в Верховном Совете».

ков, инженер Аэродромстроя НКВД. Их стройколонна (помню, что она подчинялась заместителю Берии Сафразьяну) сооружала аэродромы в Латвии. На грузовиках под обстрелом, неизвестно кем производившимся, они бежали от наступавших германских войск. В Ленинграде они расположились своеобразным лагерем у здания УНКВД (Большого дома) в ожидании приказа из Москвы. Покидать место стоянки им не разрешалось. Я поехал туда, провел там некоторое время и слышал разговоры, смысл которых сводился к тому, что Гитлер сумел выманить нас «в предполье», и теперь мы расплачиваемся за это.

Другой повод для того, чтобы усомниться в мудрости власти, дало решение об эвакуации ленинградских школ и других детских учреждений в южные районы области прямо навстречу наступавшим немцам, между тем как людям, вовсе не искушенным в военном деле, например, моему отцу, было ясно, что эвакуация должна проводиться в восточном направлении.

Что касается влияния на меня моего отца, то оно, будучи систематическим, носило такой неспециальный, а потому незапоминающийся характер, что его очень трудно определить. Вместо этого я воспроизвожу в качестве приложения свои краткие воспоминания о нем. Добавлю, что он обычно сообщал доходившие до него слухи, тогда называвшиеся ОГГ («одна гражданка говорила»). Так, помню его сообщение о речи Сталина 5 мая 1941 г., смысл которого в интеллигентской трактовке сводился к предупреждению: «Вам предстоит развеять миф о непобедимости германской армии».

Мой учитель Б. А. Романов считал важной для историка жизненной школой поездку по железной дороге. Вероятно, он имел в виду российскую действительность. Помню его слова: «Если ты пишешь о социальном, надо ездить поездом», сказанные о Ю. Я. Перепелкине, выдающемся египтологе, работавшем в 1950-е годы в нашем Ленинградском отделении Института истории, который, боясь инфекций, и по городу предпочитал ходить пешком. Переезд нашей семьи на восток по военной России в течение осени и зимы

1941 г. дал мне множество впечатлений не только железнодорожного характера. То, что можно было видеть в пути, на самом деле полно и ярко отражало происходившее вокруг. Зима уже наступила, когда мы оказались в Кирове. Здесь были эвакуированные из Москвы наркоматы — Наркомздрав, Наркомлес и Наркомпрос. В Наркомпросе отец ждал назначения, а в Наркомлес мы с ним носили передачи для его сидевшего в лагере старшего брата Л. И. Ганелина, многолетнего сотрудника этого ведомства, посаженного в 1940 г. наркомом Госконтроля Л. З. Мехлисом. Бывшие коллеги заключенного через лесозаготовительные органы Гулага передавали ему приносимое. Затем стало известно, что передачи больше не нужны, причина этого оказалась не трагической, как это чаще всего бывало, а счастливой: арестанта выпустили и доставили в Москву, где он был включен в состав группы сотрудников наркомата, работавших чуть ли не в Кремле.

Киров, как и другие города, стоявшие у железнодорожного пути с запада на восток, и особенно их вокзалы, при вокзальные площади, станции и поселки, стал наполняться поляками, западными белорусами и украинцами, евреями, людьми всех возрастов, вывезенными НКВД в северные лагеря с присоединенных к СССР польских территорий. После начала советско-германской войны они были выпущены по соглашению с польским эмигрантским правительством. (Депортированные таким же образом прибалты освобождены не были.) Их по-европейски яркая и слишком легкая для этих мест одежда подчеркивала их беспомощность и растерянность. Помню очередь перед булочной на одной из центральных улиц Кирова, состоявшую из «старых» и «новых» советских граждан. Хлеб кончился, и дверь заперли изнутри. Люди были подавлены и растеряны. И тогда польский еврей, набравшийся храбрости и провожаемый взглядами, в которых еще теплилась надежда, решил проникнуть в помещение через служебный вход. Выйдя оттуда, в почти молитвенном экстазе, словами трех языков —

польского, русского и идиш — он произнес: «Заведующий, Бог да найдет способ отблагодарить его и всю его семью, сказал, чтобы мы не расходились, может быть, привезут еще...». Эта была страшная школа интернационализма голодных — не пролетарского, а вовсе бесклассового.

Из Кирова на восток мы ехали эшелонам. Состав из товарных вагонов, «теплушек», отапливавшихся «буржуйками», двигался в потоке таких же без расписания. Разумеется, остановки были случайными, чаще всего в чистом поле, и люди рассаживались на корточках рядом с вагонами, чтобы удовлетворить нужду. Вдруг состав трогался, остававшимся в вагонах приходилось поднять лестницы и уже на ходу поезда за руки втягивать вышедших, не успевших подтянуть спущенные штаны.

Вместе с нами ехали мои двоюродные братья Э. Г. и Г. Г. Левины, позже ушедшие на войну, где Э. Г. Левин погиб при освобождении Литвы. В Свердловске наш эшелон был остановлен, по обыкновению, далеко от вокзала (забывать вокзальные пути эшелонами было невозможно), а эвакуопункт, где выдавали еду, помещался рядом с вокзалом. Было темное время суток. Пассажиры нашей теплушки разделились для поисков эвакуопункта на несколько групп. Когда мы с Г. Г. Левиным с ведерком манной каши на весь вагон вернулись к тому месту, где, как нам казалось, стоял наш эшелон, его там уже не было.

В течение нескольких дней мы попутными эшелонами добрались до Новосибирска (это было в порядке вещей, отставали от своих эшелонов многие). В Новосибирске я попал в сыпнотифозные бараки, заполненные ранеными, заболевшими сыпняком в госпиталях или по дороге. Оказалось, что сыпь, которой я покрылся от прокисшей каши (другой еды у нас не было), очень похожа на сыпнотифозную. Несколько дней, проведенных в солдатской палате, оставили незабываемую память о моих соседях, простых, умных людях, лишенных казенных официально-патриотических стереотипов вроде ненависти к немцам и т. п., но без

обсуждения, как само собой разумеющееся, принявших обет стойкости в бою с ними. Летом 1944 г. на волжской пристани в г. Кинешме мне довелось видеть две группы в нескольких метрах друг от друга. Больных и раненых пленных обихаживали две фельдшерицы. А наши инвалиды доставали им воду и вели между собой философский разговор на тему «кто виноват». Молодой статный безрукий человек произнес: «Никто — война».

Страшную картину видел я поздней осенью 1943 г. на вокзале в Новосибирске. Громадное не только по тем, но и по нынешним временам здание было почти сплошь заполнено узбеками, которых мобилизовали в трудармию в Сибирь, где они массами гибли. Их пришлось отпустить. В тех же халатах, в которых они туда поехали, и с теми же тубетейками на головах выжившие сидели на полу вплотную друг к другу и молились. Попасть в идущие в Среднюю Азию поезда было невозможно. По тропинкам между сидевшими и лежавшими ходил милиционер и носком сапога трогал тех из лежавших, которые казались ему мертвыми. Если его выбор оказывался правильным, появлялись двое с носилками ...

Если перед войной я внимал устной партийной пропаганде, то с началом ее обратился к печатной. При райкомах партии существовали парткабинеты с довольно полным набором газет и журналов, в том числе научных изданий гуманитарного профиля. В пустых читальных залах было чисто и тепло — вещь по тем временам не такая уж частая. В г. Бийске Алтайского края, где оказалась наша семья вследствие назначения отца заместителем директора тамошнего учительского института, парткабинет помещался неподалеку от нашего дома, и я проводил там немало времени. Помню, что читал журнал «*Мировое хозяйство и мировая политика*» — не только текущие его номера, но и за предыдущие годы. В этом органе Института мирового хозяйства и мировой политики во главе с акад. Е. С. Варгой не было, разумеется, никакой намеренной политической оппозиционности, но сотрудники институ-

та были настолько глубокими знатоками каждый своего предмета, что впоследствии, когда я, учась на истфаке ЛГУ, по предложению моего учителя проф. Н. П. Полетики слушал курс мирового хозяйства, очень интересно читавшийся на экономическом факультете проф. М. Ю. Бортником, многое казалось мне знакомым. Работы такого рода создавали, помимо прочего, представление о возможности и действенности научного анализа и на марксистской основе. Тем самым порождалось критическое отношение к остальной печатной продукции того времени.

В Бийском учительском институте преподавали приехавшие из Москвы яркие, образованные и скептически мыслящие люди — историк Александр Давидович Эпштейн, специалист по истории средневековой Германии, блестящий лектор, человек широчайшей образованности и большого природного ума, впоследствии преподававший на факультете международных отношений МГУ (затем — МГИМО), и литературовед Владимир Николаевич Кукушкин. Таких одаренных людей я редко встречал потом вообще, и среди деятельно и успешно работавших в науке в частности (не решаюсь написать — в особенности). Дело было не только в намеренном подборе кадров по принципу усредненности, при котором яркость личности и парадоксальность мышления вряд ли способствовали успешной карьере в сфере гуманитарных знаний. Существовало множество препятствий служебного и издательского характера, часто житейского порядка, порождавшихся общим строем отношений в стране.

Частые встречи и разговоры с этими двумя людьми на самые различные темы способствовали моему методологическому созреванию, которое завершилось при комических обстоятельствах, сообщенных в начале настоящей главы. Ситуации, возникавшие в научной среде сами по себе или созданные академическим и партийным руководством, сочетались в их рассказах с демонстрацией научной уязвимости и искусственности внедрявшихся в научно-педагогическую практику «аксиоматических» положений.

Так, А. Д. Эпштейн поставил в моем представлении под вопрос теорию формаций, вошедшую отдельным параграфом в знаменитую философскую четвертую главу Краткого курса истории ВКП(б).

Рассказ В. Н. Кукушкина о старом большевике Миха Цхакая как мемуаристе своей ироничностью лишал правдоподобия каноническую картину революционной эпохи и вредил ее героическим образам. В 1938 г., рассказывал В. Н. Кукушкин, возглавлявший редакцию *«Истории гражданской войны»* И. И. Минц дал со ссылкой на Сталина установку: *«Ни одного участника гражданской войны без мемуаров!»* Их было, разумеется, еще немало, особенно таких, которые нуждались в литературной помощи. Студенты-старшекурсники, аспиранты МИФЛИ и гуманитарных факультетов МГУ получили возможность заработка записью устных рассказов и их литературной обработкой. В. Н. Кукушкину достался Миха Цхакая, который содержался в привилегированном подмосковном инвалидном доме. В. Н. Кукушкин приезжал туда со стенографисткой. Иногда тот уклонялся от рассказывания, ссылаясь на отсутствие вдохновения (он говорил с грузинским акцентом: *«Дахнавэнья нэт»*) и посылал приехавших погулять в саду, предлагая рубль на расходы (представление о деньгах он потерял). Когда же удавалось сесть за работу, он имел обыкновение начинать со своих отношений с Лениным и каждый раз в одном и том же ключе. *«Приходит ко мнэ Владимир Ильич, — произносил он, — и я ему говорю: что-то ти тут напутал».* В. Н. Кукушкин и стенографистка договорились, что по его знаку она будет прерывать запись. Но однажды М. Цхакая заметил это и заявил: *«Ти, молодой человек, рукой нэ махай, а ти, барышня, пиши, и нэ крючки, а русские буквы: Цхакая Ильичу говорит: “Что-то ти тут напутал”».*

Таким причудливым способом я получил начальную не только общеисторическую, но и специально источниковедческую подготовку. Может возникнуть вопрос о причинах такого доверия ко мне, школьнику, со стороны только что познакомившихся со мной людей. Расправы предшествовав-

ших лет, разумеется, воспитали в интеллигентской среде значительную осторожность в общении, но эта осторожность носила не безоглядный, а избирательный характер. Выбор собеседников совершался по целому ряду признаков, но по преимуществу интуитивно. Случавшиеся ошибки, несмотря на трагические последствия, не приводили, по моим воспоминаниям, к большой сдержанности.<sup>29</sup> Отношение моих собеседников ко мне поначалу определялось, по-видимому, репутацией моего отца, безупречность которой сомнений у них не вызывала.

Осенью 1943 г. я оказался в Москве и столкнулся с последствиями принятого в октябре этого года в присутствии Сталина партийного решения об ограничении роли евреев в различных областях жизни страны. Как это ни странно, но воспитанная в нерушимо интернационалистском духе интеллигенция была взволнована слухами об этом, пожалуй, сильнее, чем процессами и расстрелами 1930-х годов.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> И это несмотря на то, что аресты продолжались. Помню, как я, получив в институтской столовой обед, перед тем как нести его домой, гремя кастрюлями, вошел в директорский кабинет за пирожком, полагавшимся отцу как исполнявшему обязанности отсутствовавшего директора. Вслед за мной без стука в кабинет вошли двое, с порога задав вопрос: «Как идет работа?» — «Вы за кем?» — ответил отец. Оказалось, что пришли за институтским бухгалтером Карнауховым.

<sup>30</sup> Моему отцу рассказал о партийном решении знакомый с ним Д. И. Заславский, к которому он обратился по инициативе не столько собственной, сколько проявленной его коллегами, учеными педагогами и психологами. Они искали объяснения инцидента с крупнейшим психологом С. Л. Рубинштейном. 29 сентября 1943 г. он первым среди представителей этой науки был избран членом-корреспондентом АН СССР. Тем не менее его не оказалось в утвержденном правительством первом составе учрежденной в начале октября Академии педагогических наук РСФСР. В среде специалистов память об этой истории сохранилась даже через полвека. Несколько лет тому назад меня расспрашивал о

С весны 1943 г., по наблюдениям И. Г. Эренбурга, возобновилась общая «строгость» (он связывал это с победой в Сталинградской битве). Но «строгость» была какая-то неполная. Так, к моему отцу пришла по делу заместительница декана истфака МГУ (кажется, фамилия ее была Рубина) и с иронией рассказала, что с поступлением на факультет С. И. Аллилуевой все преподаватели марксизма-ленинизма отказались читать лекции на ее курсе. Каждый из них с ужасом представлял себе, что отец этой студентки заглянет в ее конспекты. Положение спас своим согласием старый большевик В. Г. Юдовский.

Во всяком случае в репертуаре московских разговоров этого времени еврейская тема заняла свое место.

Не могу теперь признать себя подготовленным тогда к такому развитию событий. Но хорошо помню, что когда летом 1944 г. декан факультета международных отношений МГУ проф. И. Д. Удальцов (брат медиевиста члена-корреспондента АН СССР А. Д. Удальцова и отец славяноведа И. И. Удальцова, впоследствии дипломата и партийного работника) в очень осторожных выражениях, как мне показа-

---

ней ученик С. Л. Рубинштейна директор Института психологии РАН А. В. Брушлинский, трагически погибший от руки киллера. В 1963 г. секретарь Ленинградского горкома КПСС Ю. А. Лавриков, излагая выступление Н. С. Хрущева перед творческой интеллигенцией, в котором он полемизировал с Е. А. Евтушенко по еврейскому вопросу, упомянул, что Хрущев не только сослался на октябрьское решение Политбюро 1943 г., но и подчеркнул, что его никто не отменял. Впрочем, известно, что на самом деле некоторые ограничения начались еще в 1937–1938 гг. И. Г. Эренбург отмечал меры, относящиеся к весне 1943 г. Политработников высокого чина в армии и военных юристов стали заменять в 1942 г. Мой друг старый солдат И. З. Кадсон рассказывал об одном дивизионном политработнике-еврее, глубоко переживавшем свое смещение, но вознагражденном назначением на равный пост в дивизии, сформированной уже в Германии из венерических больных.

*Как я созрел...*

лось, сам несколько сконфуженный, дал мне понять, что меня к ним не примут,<sup>31</sup> я не был этим так уж потрясен. Во всяком случае то, что я увидел, выйдя на улицу, произвело на меня не меньшее впечатление, чем слова декана. Посередине дороги вооруженные пистолетами люди в штатском вели интеллигентного вида арестанта. В сущности, поражен я был только самой сценой, об арестах среди студентов мне было известно.

---

<sup>31</sup> Я был тогда студентом Института инженеров железнодорожного транспорта, и он сказал мне: «Молодой человек, не сжигайте своих кораблей».

## НА ИСТФАКЕ ЛГУ

В 1945 г., поступив на исторический факультет Ленинградского университета, я оказался в среде профессиональных историков, в которой пребываю 60 лет. Истфак блистал составом своей профессуры, среди которой были С. Н. Валк, Б. А. Романов, И. И. Смирнов, С. Б. Окунь, А. В. Предтеченский, Е. В. Тарле, В. В. Струве, Н. П. Полетика, А. И. Молок и др. Деканом был В. В. Мавродин, человек остроумный и не боявшийся повредить себе неортодоксальными высказываниями, по возможности доброжелательный по отношению ко всем окружающим и старавшийся толковать эту возможность предельно широко.

Обо всех этих выдающихся ученых существуют воспоминания и историографические труды, но особенность места и времени была в том, что собственных воспоминаний никто из них не оставил и, насколько известно, не писал. Исключение, подтверждающее причины этого, — воспоминания Н. П. Полетики о довоенных временах, написанные в Израиле и там же изданные. Задаваясь вопросом о причинах сдержанности наших учителей, я все больше вижу ответ в том, что жизнь уцелевших от расправ была в нравственном отношении, может быть, даже тяжелее, чем у пострадавших. С течением времени подлинный смысл и роковые последствия сказанного и написанного в вынужденных политических обвинениях друг друга в ходе так называемых «проработок» становились слишком очевидными.

Университет в целом и гуманитарные его факультеты особенно были в несколько привилегированном положении. Ректором был А. А. Вознесенский, профессор полити-

ческой экономии капитализма, читавший в актовом зале свой курс, в основе которого был марксов «*Капитал*», всем студентам-гуманитарам. Часто его заменяла Е. М. Виленкина, «*Маркс в юбке*», как мы ее называли. Курс, хотя и читался двумя лекторами, был очень интересен. А. А. Вознесенский часто отвлекался ради очень поучительных житейских рассказов. Он был старшим братом члена Политбюро председателя Госплана Н. А. Вознесенского («*персона нон грата, но брата*», — острил Е. В. Тарле). Университет был для него домом, в котором он чувствовал себя хозяином. Вел он себя порой в полном противоречии с той манерой поведения, которая была присуща руководящим работникам идеологического, как тогда выражались, фронта.

Незадолго до назначения его министром просвещения РСФСР в 1947 г. он провел в университете грандиозную конференцию «*Наука, литература и искусство в новой сталинской пятилетке*» с приглашением знатных москвичей. Помню на перроне (я был в команде встречающих) явно смущенную Маргариту Алигер и Л. М. Суббоцкого, литературного критика, секретаря Союза писателей. Одетый в полувоенное, он произвел на меня хорошо запомнившееся то ли жалкое, то ли даже трагическое впечатление. Только через много лет я узнал, что в самые страшные годы он был одновременно секретарем оргкомитета Союза писателей и помощником главного военного прокурора, участвовавшим в допросах М. Н. Тухачевского и других «военных заговорщиков», но уклонившимся от присутствия на их расстреле. Его за это арестовали, но вскоре выпустили. Выступлений М. Алигер и Л. М. Суббоцкого я не помню, вероятно, не был на них.

Среди приехавших был и упоминавшийся Д. И. Заславский, к которому я был приставлен в качестве то ли вестового, то ли поводыря (он плохо видел). Б. А. Романов специально приехал, чтобы послушать его речь, но я не помню в ней фельетонной остроты и парадоксальности. Сопровождая Заславского, я оказался на заседании в Оперной студии консерватории в той ложе, где находилось на-

чальство, и услышал очень характерный для тогдашнего нашего ректора его разговор с В. В. Мавродиным. После блестящего доклада музыковеда Л. А. Энтелиса Вознесенский спросил Мавродина: «Почему Энтелис не работает на искусствоведческом отделении исторического факультета?» Мавродин объяснил, что там занимаются только изобразительными видами искусства. «Меня это не интересует, — ответил Вознесенский, — если в городе есть человек такой высокой одаренности, он должен быть профессором нашего университета».<sup>32</sup>

Вероятно, не без влияния такого взгляда ректора на искусствоведческом отделении был введен курс истории кино, который читал Л. З. Трауберг. На заседании университетского Ученого совета, как рассказывал мне присутствовавший там мой отец, с возражениями выступил известный химик, член-корреспондент АН СССР И. И. Жуков (сын фабриканта, производившего до революции знаменитое жуковское мыло). «Кино — не наука», — заявил он. «Было время, когда Ваша химия была такой же не наукой, как сегодня кино», — возражал ему М. А. Гуковский. «Вот когда кино станет такой же наукой, как сегодня химия, производите Трауберга в профессора, — стоял на своем Жуков. — А то Вы еще откроете в университете кафедру цирковой клоунады».

Лекции Трауберга пользовались большим успехом, из числа моих однокурсников-искусствоведов несколько человек стали профессиональными «киношниками».

Но обращусь к историографической ситуации первых послевоенных лет. Сложившееся с середины 1930-х годов своеобразное сосуществование принципа социально-экономических формаций как основы изучения и преподавания

---

<sup>32</sup> Наряду с этим мне известен случай, когда ректор отказал в приеме на работу в университет преподавательнице французского языка из-за отсутствия у нее советского высшего образования (она училась во Франции). А. А. Вознесенский, как и его брат, стал жертвой «ленинградского дела». По сведениям известного журналиста Л. И. Сидоровского, он был забит до смерти двумя членами Политбюро.